

Максим
ГОРЬКИЙ
1868 — 1936

Максим
ГОРЬКИЙ

Мать

Роман



Санкт-Петербург

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44
Г 71

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Валерия Гореликова

ISBN 978-5-389-08688-3

© Оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2014
Издательство АЗБУКА®

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Каждый день над рабочей слободкой, в дымном, масляном воздухе, дрожал и ревел фабричный гудок, и, послушные зову, из маленьких серых домов выбегали на улицу, точно испуганные тараканы, угрюмые люди, не успевшие освежить сном свои мускулы. В холодном сумраке они шли по немощеной улице к высоким каменным клеткам фабрики; она с равнодушной уверенностью ждала их, освещая грязную дорогу десятками жирных, квадратных глаз. Грязь чмокала под ногами. Раздавались хриплые восклицания сонных голосов, грубая ругань зло рвала воздух, а встречу людям плыли иные звуки — тяжелая возня машин, ворчание пара. Угрюмо и строго маячили высокие черные трубы, поднимаясь над слободкой, как толстые палки.

Вечером, когда садилось солнце и на стеклах домов устало блестели его красные лучи, — фабрика выкидывала людей из своих каменных недр, словно отработанный шлак, и они снова шли по улицам, закопченные, с черными лицами, распространяя в воздухе липкий запах машинного масла, блестя голодными зубами. Теперь в их голосах звучало оживление и даже радость, — на сегодня кончилась каторга труда, дома ждал ужин и отдых.

День проглочен фабрикой, машины высосали из мускулов людей столько силы, сколько им было нужно. День бесследно вычеркнут из жизни, человек сделал еще шаг к своей могиле, но он видел близко перед

собой наслаждение отдыха, радости дымного кабака и — был доволен.

По праздникам спали часов до десяти, потом люди солидные и женатые одевались в свое лучшее платье и шли слушать обедню, попутно ругая молодежь за ее равнодушие к церкви. Из церкви возвращались домой, ели пироги и снова ложились спать — до вечера.

Усталость, накопленная годами, лишала людей аппетита, и для того, чтобы есть, много пили, раздражая желудок острыми ожогами водки.

Вечером лениво гуляли по улицам, и тот, кто имел галоши, надевал их, если даже было сухо, а имея дождевой зонтик, носил его с собой, хотя бы светило солнце.

Встречаясь друг с другом, говорили о фабрике, о машинах, ругали мастеров, — говорили и думали только о том, что связано с работой. Одинокие искры неумелой, бессильной мысли едва мерцали в скучном однообразии дней. Возвращаясь домой, ссорились с женами и часто били их, не щадя кулаков. Молодежь сидела в трактирах или устраивала вечеринки друг у друга, играла на гармониках, пела похабные, некрасивые песни, танцевала, сквернословила и пила. Истомленные трудом люди пьянели быстро, и во всех грудях пробуждалось непонятное, болезненное раздражение. Оно требовало выхода. И, цепко хватаясь за каждую возможность разрядить это тревожное чувство, люди из-за пустяков бросались друг на друга с озлоблением зверей. Возникали кровавые драки. Порою они кончались тяжкими увечьями, изредка — убийством.

В отношениях людей всего больше было чувства подстерегающей злобы, оно было такое же застарелое, как и неизлечимая усталость мускулов. Люди рождались с этою болезнью души, наследуя ее от отцов, и она черною тенью сопровождала их до могилы, побуждая в течение жизни к ряду поступков, отвратительных своей бесцельной жестокостью.

По праздникам молодежь являлась домой поздно ночью в разорванной одежде, в грязи и пыли, с разбитыми лицами, злорадно хвастаясь нанесенными товарищам ударами, или оскорбленная, в гневе или слезах обиды, пьяная и жалкая, несчастная и противная. Иногда парней приводили домой матери, отцы. Они отыскивали их где-нибудь под забором на улице или в кабаках бесчувственно пьяными, скверно ругали, били кулаками мягкие, разжиженные водкой тела детей, потом более или менее заботливо укладывали их спать, чтобы рано утром, когда в воздухе темным ручьем потечет сердитый рев гудка, разбудить их для работы.

Ругали и били детей тяжело, но пьянство и драки молодежи казались старикам вполне законным явлением, — когда отцы были молоды, они тоже пили и дрались, их тоже били матери и отцы. Жизнь всегда была такова, — она ровно и медленно текла куда-то мутным потоком годы и годы и вся была связана крепкими, давними привычками думать и делать одно и то же изо дня в день. И никто не имел желания попытаться изменить ее.

Изредка в слободку приходили откуда-то посторонние люди. Сначала они обращали на себя внимание просто тем, что были чужие, затем возбуждали к себе легкий, внешний интерес рассказами о местах, где они работали, потом новизна стиралась с них, к ним привыкали, и они становились незаметными. Из их рассказов было ясно: жизнь рабочего везде одинакова. А если это так — о чем же разговаривать?

Но иногда некоторые из них говорили что-то неслыханное в слободке. С ними не спорили, но слушали их странные речи недоверчиво. Эти речи у одних возбуждали слепое раздражение, у других смутную тревогу, третьих беспокоила легкая тень надежды на что-то неясное, и они начинали больше пить, чтобы изгнать ненужную, мешающую тревогу.

Заметив в чужом необычное, слобожане долго не могли забыть ему это и относились к человеку, не похожему на них, с безотчетным опасением. Они точно боялись, что человек бросит в жизнь что-нибудь такое, что нарушит ее уныло правильный ход, хотя тяжелый, но спокойный. Люди привыкли, чтобы жизнь давила их всегда с одинаковой силой, и, не ожидая никаких изменений к лучшему, считали все изменения способными только увеличить гнет.

От людей, которые говорили новое, слобожане молча сторонились. Тогда эти люди исчезали, снова уходя куда-то, а оставаясь на фабрике, они жили в стороне, если не умели слиться в одно целое с однообразной массой слобожан...

Пожив такой жизнью лет пятьдесят, — человек умирал.

II

Так жил и Михаил Власов, слесарь, волосатый, угрюмый, с маленькими глазами; они смотрели из-под густых бровей подозрительно, с нехорошей усмешкой. Лучший слесарь на фабрике и первый силач в слободке, он держался с начальством грубо и поэтому зарабатывал мало, каждый праздник кого-нибудь избивал, и все его не любили, боялись. Его тоже пробовали бить, но безуспешно. Когда Власов видел, что на него идут люди, он хватал в руки камень, доску, кусок железа и, широко расставив ноги, молча ожидал врагов. Лицо его, заросшее от глаз до шеи черной бородой, и волосатые руки внушали всем страх. Особенно боялись его глаз, — маленькие, острые, они сверлили людей, точно стальные буравчики, и каждый, кто встречался с их взглядом, чувствовал перед собой дикую силу, недоступную страху, готовую бить беспощадно.

— Ну, расходись, сволочь! — глухо говорил он. Сквозь густые волосы на его лице сверкали крупные,

желтые зубы. Люди расходились, ругая его трусливо воющей руганью.

— Сволочь! — кратко говорил он вслед им, и глаза его блестели острой, как шило, усмешкой. Потом, держа голову вызывающе прямо, он шел следом за ними и вызывал:

— Ну, — кто смерти хочет?

Никто не хотел.

Говорил он мало, и «сволочь» — было его любимое слово. Им он называл начальство фабрики и полицию, с ним он обращался к жене:

— Ты, сволочь, не видишь — штаны разорвались!

Когда Павлу, сыну его, было четырнадцать лет, Власову захотелось оттащить его за волосы. Но Павел взял в руки тяжелый молоток и кратко сказал:

— Не тронь...

— Чего? — спросил отец, надвигаясь на высокую, тонкую фигуру сына, как тень на березу.

— Будет! — сказал Павел. — Больше я не дамся...

И взмахнул молотком.

Отец посмотрел на него, спрятал за спину мохнатые руки и, усмехаясь, проговорил:

— Ладно...

Потом, тяжело вздохнув, добавил:

— Эх ты, сволочь...

Вскоре после этого он сказал жене:

— Денег с меня больше не спрашивай, тебя Пашка прокормит...

— А ты всё пропивать будешь? — осмелилась она спросить.

— Не твое дело, сволочь! Я любовницу заведу...

Любовницы он не завел, но с того времени, почти два года, вплоть до смерти своей, не замечал сына и не говорил с ним.

Была у него собака, такая же большая и мохнатая, как сам он. Она каждый день провожала его на фабри-

ку и каждый вечер ждала у ворот. По праздникам Власов отправлялся ходить по кабакам. Ходил он молча и, точно желая найти кого-то, царапал своими глазами лица людей. И собака весь день ходила за ним, опустив большой, пышный хвост. Возвращаясь домой пьяный, он садился ужинать и кормил собаку из своей чашки. Он ее не бил, не ругал, но и не ласкал никогда. После ужина он сбрасывал посуду со стола на пол, если жена не успевала вовремя убрать ее, ставил перед собой бутылку водки и, опираясь спиной о стену, глухим голосом, наводившим тоску, выл песню, широко открывая рот и закрыв глаза. Заунывные, некрасивые звуки пу- тались в его усах; сбивая с них хлебные крошки, слесарь расправлял волосы бороды и усов толстыми пальцами и — пел. Слова песни были какие-то непонятные, растянутые, мелодия напоминала о зимнем вое волков. Пел он до поры, пока в бутылке была водка, а потом валился боком на лавку или опускал голову на стол и так спал до гудка. Собака лежала рядом с ним.

Умер он от грыжи. Дней пять, весь почерневший, он ворочался на постели, плотно закрыв глаза, и скрипел зубами. Иногда говорил жене:

— Дай мышьяку, отрави...

Доктор велел поставить Михаилу припарки, но сказал, что необходима операция и больного нужно сегодня же везти в больницу.

— Пошел к черту, — я сам умру!.. Сволочь! — прохрипел Михаил.

А когда доктор ушел и жена со слезами стала уговаривать его согласиться на операцию, он сжал кулак и, погрозив ей, заявил:

— Выздоровлю — тебе хуже будет!

Он умер утром, в те минуты, когда гудок звал на работу. В гробу лежал с открытым ртом, но брови у него были сердито нахмурены. Хоронили его жена, сын, собака, старый пьяница и вор Данила Весовщиков, прогнанный с фабрики, и несколько слободских ни-

щих. Жена плакала тихо и немного. Павел — не плакал. Слобожане, встречая на улице гроб, останавливались и, крестясь, говорили друг другу:

— Чай, Палагея-то рада-радешенька, что помер он...

Некоторые поправляли:

— Не помер, а — издох...

Когда гроб зарыли, люди ушли, а собака осталась и, сидя на свежей земле, долго молча нюхала могилу. Через несколько дней кто-то убил ее...

III

Спустя недели две после смерти отца, в воскресенье, Павел Власов пришел домой сильно пьяный. Качаясь, он пролез в передний угол и, ударив кулаком по столу, как это делал отец, крикнул матери:

— Ужинать!

Мать подошла к нему, села рядом и обняла сына, притягивая голову его к себе на грудь. Он, упираясь рукой в плечо ей, сопротивлялся и кричал:

— Мамаша, — живо!..

— Дурачок ты! — печально и ласково сказала мать, одолевая его сопротивление.

— И — курить буду! Дай мне отцову трубку... — тяжело двигая непослушным языком, бормотал Павел.

Он напился впервые. Водка ослабила его тело, но не погасила сознания, и в голове стучал вопрос:

«Пьян? Пьян?»

Его смущали ласки матери и трогала печаль в ее глазах. Хотелось плакать, и, чтобы подавить это желание, он старался притвориться более пьяным, чем был.

А мать гладила рукой его потные, спутанные волосы и тихо говорила:

— Не надо бы этого тебе...

Его начало тошнить. После бурного припадка рвоты мать уложила его в постель, накрыв бледный лоб

мокрым полотенцем. Он немного отрезвел, но все под ним и вокруг него волнообразно качалось, у него отяжелели веки, и, ощущая во рту скверный, горький вкус, он смотрел сквозь ресницы на большое лицо матери и бессвязно думал:

«Видно, рано еще мне. Другие пьют и — ничего, а меня тошнит...»

Откуда-то издали доносился мягкий голос матери:

— Каким кормильцем ты будешь мне, если пить начнешь...

Плотно закрыв глаза, он сказал:

— Все пьют...

Мать тяжело вздохнула. Он был прав. Она сама знала, что, кроме кабака, людям негде почерпнуть радости. Но все-таки сказала:

— А ты — не пей! За тебя, сколько надо, отец выпил. И меня он намучил довольно... так уж ты бы пожалел мать-то, а?

Слушая печальные, мягкие слова, Павел вспоминал, что при жизни отца мать была незаметна в доме, молчалива и всегда жила в тревожном ожидании побоев. Избегая встреч с отцом, он мало бывал дома последнее время, отвык от матери и теперь, постепенно трезвея, пристально смотрел на нее.

Была она высокая, немного сутулая, ее тело, разбитое долгой работой и побоями мужа, двигалось бесшумно и как-то боком, точно она всегда боялась задеть что-то. Широкое, овальное лицо, изрезанное морщинами и одутловатое, освещалось темными глазами, тревожно-грустными, как у большинства женщин в слободке. Над правой бровью был глубокий шрам, он немного поднимал бровь кверху, казалось, что и правое ухо у нее выше левого, это придавало ее лицу такое выражение, как будто она всегда пугливо прислушивалась. В густых, темных волосах блестели седые пряди. Вся она была мягкая, печальная, покорная...

И по щекам ее медленно текли слезы.

— Не плачь! — тихо попросил сын. — Дай мне пить.

— Я тебе воды со льдом принесу...

Но, когда она воротилась, он уже заснул. Она стояла над ним минуту, ковш в ее руке дрожал, и лед тихо бился о жесть. Поставив ковш на стол, она молча опустила на колени перед образами. В стекла окон бились звуки пьяной жизни. Во тьме и сырости осеннего вечера визжала гармоника, кто-то громко пел, кто-то ругался гнилыми словами, тревожно звучали раздраженные, усталые голоса женщин...

Жизнь в маленьком доме Власовых потекла более тихо и спокойно, чем прежде, и несколько иначе, чем везде в слободе. Дом их стоял на краю слободы, у невысокого, но крутого спуска к болоту. Третью дома занимала кухня и отгороженная от нее тонкой переборкой маленькая комнатка, в которой спала мать. Остальные две трети — квадратная комната с двумя окнами; в одном углу ее — кровать Павла, в переднем — стол и две лавки. Несколько стульев, комод для белья, на нем маленькое зеркало, сундук с платьем, часы на стене и две иконы в углу — вот и все.

Павел сделал все, что надо молодому парню: купил гармонику, рубашку с накрахмаленной грудью, яркий галстук, галоши, трость и стал такой же, как все подростки его лет. Ходил на вечеринки, выучился танцевать кадрили и польку, по праздникам возвращался домой выпивши и всегда сильно страдал от водки. Наутро болела голова, мучила изжога, лицо было бледное, скучное.

Однажды мать спросила его:

— Ну что, весело тебе было вчера?

Он ответил с угрюмым раздражением:

— Тоска зеленая! Я лучше удить рыбу буду. Или — куплю себе ружье.

Работал он усердно, без прогулов и штрафов, был молчалив, и голубые, большие, как у матери, глаза его

смотрели недовольно. Он не купил себе ружья и не стал удить рыбу, но заметно начал уклоняться с торной дороги всех: реже посещал вечеринки и хотя по праздникам куда-то уходил, но возвращался трезвый. Мать, зорко следя за ним, видела, что смуглое лицо сына становится острее, глаза смотрят все более серьезно и губы его сжались странно строго. Казалось, он молча сердится на что-то или его сосет болезнь. Раньше к нему заходили товарищи, теперь, не заставляя его дома, они перестали являться. Матери было приятно видеть, что сын ее становится не похожим на фабричную молодежь, но, когда она заметила, что он сосредоточенно и упрямо выплывает куда-то в сторону из темного потока жизни, — это вызвало в душе ее чувство смутного опасения.

— Ты, может, нездоров, Павлуша? — спрашивала она его иногда.

— Нет, я здоров! — отвечал он.

— Худой ты очень! — вздохнув, говорила мать.

Он начал приносить книги и старался читать их незаметно, а прочитав, куда-то прятал. Иногда он выписывал из книжек что-то на отдельную бумажку и тоже прятал ее...

Говорили они мало и мало видели друг друга. Утром он молча пил чай и уходил на работу, в полдень являлся обедать, за столом перекидывались незначительными словами, и снова он исчезал вплоть до вечера. А вечером тщательно умывался, ужинал и после долго читал свои книги. По праздникам уходил с утра, возвращался поздно ночью. Она знала, что он ходит в город, бывает там в театре, но к нему из города никто не приходил. Ей казалось, что с течением времени сын говорит все меньше, и в то же время она замечала, что порою он употребляет какие-то новые слова, непонятные ей, а привычные для нее, грубые и резкие выражения — выпадают из его речи. В поведении его

явилось много мелочей, обращавших на себя ее внимание: он бросил щегольство, стал больше заботиться о чистоте тела и платья, двигался свободнее, ловчей и, становясь наружно проще, мягче, возбуждал у матери тревожное внимание. И в отношении к матери было что-то новое; он иногда подметал пол в комнате, сам убирал по праздникам свою постель, вообще старался облегчить ее труд. Никто в слободе не делал этого...

Однажды он принес и повесил на стенку картину — трое людей, разговаривая, шли куда-то легко и бодро.

— Это воскресший Христос идет в Эммаус! — объяснил Павел.

Матери понравилась картина, но она подумала:

«Христа почитаешь, а в церковь не ходишь...»

Все больше становилось книг на полке, красиво сделанной Павлу товарищем-столяром. Комната приняла приятный вид.

Он говорил ей «вы» и называл «мамаша», но иногда вдруг обращался к ней ласково:

— Ты, мать, пожалуйста, не беспокойся, я поздно ворочусь домой...

Ей это нравилось, в его словах она чувствовала что-то серьезное и крепкое.

Но росла ее тревога. Не становясь от времени яснее, она все более остро щекотала сердце предчувствием чего-то необычного. Порою у матери являлось недовольство сыном, она думала:

«Все люди — как люди, а он — как монах. Уж очень строг. Не по годам это...»

Иногда она думала:

«Может, он девицу себе завел какую-нибудь?»

Но возня с девицами требует денег, а он отдавал ей свой заработок почти весь.

Так шли недели, месяцы, и незаметно прошло два года странной, молчаливой жизни, полной смутных дум и опасений, все возраставших.

IV

Однажды после ужина Павел опустил занавеску на окне, сел в угол и стал читать, повесив на стенку над своей головой жестяную лампу. Мать убрала посуду и, выйдя из кухни, осторожно подошла к нему. Он поднял голову, вопросительно взглянул ей в лицо.

— Ничего, Паша, это я так! — поспешно сказала она и ушла, смущенно двигая бровями. Но, постояв среди кухни минуту неподвижно, задумчивая, озабоченная, она чисто вымыла руки и снова вышла к сыну.

— Хочу я спросить тебя, — тихонько сказала она, — что ты все читаешь?

Он сложил книжку.

— Ты — сядь, мамаша...

Мать грузно опустилась рядом с ним и выпрямилась, насторожилась, ожидая чего-то важного.

Не глядя на нее, негромко и почему-то очень сурово, Павел заговорил:

— Я читаю запрещенные книги. Их запрещают читать потому, что они говорят правду о нашей, рабочей жизни... Они печатаются тихонько, тайно, и если их у меня найдут — меня посадят в тюрьму, — в тюрьму за то, что я хочу знать правду. Поняла?

Ей вдруг стало трудно дышать. Широко открыв глаза, она смотрела на сына, он казался ей чуждым. У него был другой голос — ниже, гуще и звучнее. Он щипал пальцами тонкие, пушистые усы и странно, исподлобья смотрел куда-то в угол. Ей стало страшно за сына и жалко его.

— Зачем же ты это, Паша? — проговорила она.

Он поднял голову, взглянул на нее и негромко, спокойно ответил:

— Хочу знать правду.

Голос его звучал тихо, но твердо, глаза блестели упрямо. Она сердцем поняла, что сын ее обрек себя на-

всегда чему-то тайному и страшному. Все в жизни казалось ей неизбежным, она привыкла подчиняться не думая и теперь только заплакала тихонько, не находя слов в сердце, сжато горем и тоской.

— Не плачь! — говорил Павел ласково и тихо, а ей казалось, что он прощается. — Подумай, какую жизнью мы живем? Тебе сорок лет, — а разве ты жила? Отец тебя бил, — я теперь понимаю, что он на твоих боках вымещал свое горе, — горе своей жизни; оно давило его, а он не понимал — откуда оно? Он работал тридцать лет, начал работать, когда вся фабрика помещалась в двух корпусах, а теперь их — семь!

Она слушала его со страхом и жадно. Глаза сына горели красиво и светло; опираясь грудью на стол, он подвинулся ближе к ней и говорил прямо в лицо, мокрое от слез, свою первую речь о правде, понятой им. Со всею силой юности и жаром ученика, гордого знаниями, свято верующего в их истину, он говорил о том, что было ясно для него, — говорил не столько для матери, сколько проверяя самого себя. Порою он останавливался, не находя слов, и тогда видел перед собой огорченное лицо, на котором тускло блестели затуманенные слезами, добрые глаза. Они смотрели со страхом, с недоумением. Ему было жалко мать, он начинал говорить снова, но уже о ней, о ее жизни.

— Какие радости ты знала? — спрашивал он. — Чем ты можешь помянуть прожитое?

Она слушала и печально качала головой, чувствуя что-то новое, неведомое ей, скорбное и радостное, — оно мягко ласкало ее наболевшее сердце. Такие речи о себе, о своей жизни она слышала впервые, и они будили в ней давно уснувшие, неясные думы, тихо раздували угасшие чувства смутного недовольства жизнью, — думы и чувства дальней молодости. Она говорила о жизни с подругами, говорила подолгу, обо всем, но все — и она сама — только жаловались, никто не

объяснял, почему жизнь так тяжела и трудна. А вот теперь перед нею сидит ее сын, и то, что говорят его глаза, лицо, слова, — все это задевает за сердце, наполняя его чувством гордости за сына, который верно познал жизнь своей матери, говорит ей о ее страданиях, жалеет ее.

Матерей — не жалеют.

Она это знала. Все, что говорил сын о женской жизни, — была горькая, знакомая правда, и в груди у нее тихо трепетал клубок ощущений, все более согревавший ее незнакомой лаской.

— Что же ты хочешь делать? — спросила она, перебивая его речь.

— Учиться, а потом — учить других. Нам, рабочим, надо учиться. Мы должны узнать, должны понять — отчего жизнь так тяжела для нас.

Ей было сладко видеть, что его голубые глаза, всегда серьезные и строгие, теперь горели так мягко и ласково. На ее губах явилась довольная, тихая улыбка, хотя в морщинах щек еще дрожали слезы. В ней колебалось двойственное чувство гордости сыном, который так хорошо видит горе жизни, но она не могла забыть о его молодости и о том, что он говорит не так, как все, что он один решил вступить в спор с этой привычной для всех — и для нее — жизнью. Ей хотелось сказать ему: «Милый, что ты можешь сделать?»

Но она боялась помешать себе любоваться сыном, который вдруг открылся перед нею таким умным... хотя немного чужим для нее.

Павел видел улыбку на губах матери, внимание на лице, любовь в ее глазах, ему казалось, что он заставил ее понять свою правду, и юная гордость силою слова возвышала его веру в себя. Охваченный возбуждением, он говорил, то усмехаясь, то хмурия брови, порою в его словах звучала ненависть, и, когда мать слышала ее звенящие, жесткие слова, она, пугаясь, качала головой и тихо спрашивала сына:

— Так ли, Паша?

— Так! — отвечал он твердо и крепко. И рассказывал ей о людях, которые, желая добра народу, сеяли в нем правду, а за это враги жизни ловили их, как зверей, сажали в тюрьмы, посылали на каторгу...

— Я таких людей видел! — горячо воскликнул он. — Это лучшие люди на земле!

В ней эти люди возбуждали страх, она снова хотела спросить сына: «Так ли?»

Но не решалась и, замирая, слушала рассказы о людях, непонятных ей, научивших ее сына говорить и думать столь опасно для него. Наконец она сказала ему:

— Скоро светать будет, лег бы ты, уснул!

— Да, я сейчас лягу! — согласился он. И, наклонясь к ней, спросил: — Поняла ты меня?

— Поняла! — вздохнув, ответила она. Из глаз ее снова покатались слезы, и, всхлипнув, она добавила: — Пропадешь ты!

Он встал, прошелся по комнате, потом сказал:

— Ну, вот ты теперь знаешь, что я делаю, куда хожу, я тебе все сказал! Я прошу тебя, мать, если ты меня любишь, — не мешай мне!..

— Голубчик ты мой! — воскликнула она. — Может, — лучше бы для меня не знать ничего!

Он взял ее руку и крепко стиснул в своих.

Ее потрясло слово «мать», сказанное им с горячей силой, и это пожатие руки, новое и странное.

— Ничего я не буду делать! — прерывающимся голосом сказала она. — Только береги ты себя, береги!

Не зная, чего нужно беречься, она тоскливо прибавила:

— Худеешь ты все...

И, обняв его крепкое, стройное тело ласкающим, теплым взглядом, заговорила торопливо и тихо:

— Бог с тобой! Живи как хочешь, не буду я тебе мешать. Только об одном прошу — не говори с людьми без

страха! Опасаться надо людей — ненавидят все друг друга! Живут жадностью, живут завистью. Все рады зло сделать. Как начнешь ты их обличать да судить — возненавидят они тебя, погубят!

Сын стоял в дверях, слушая тоскливую речь, а когда мать кончила, он, улыбаясь, сказал:

— Люди плохи, да. Но когда я узнал, что на свете есть правда, — люди стали лучше!

Он снова улыбнулся и продолжал:

— Сам не понимаю, как это вышло! С детства всех боялся, стал подрастать — начал ненавидеть, которых за подлость, которых — не знаю за что, так просто! А теперь все для меня по-другому встало, — жалко всех, что ли? Не могу понять, но сердце стало мягче, когда узнал, что не все виноваты в грязи своей...

Он замолчал, точно прислушиваясь к чему-то в себе, потом негромко и вдумчиво сказал:

— Вот как дышит правда!

Она взглянула на него и тихо молвила:

— Опасно ты переменялся, о господи!

Когда он лег и уснул, мать осторожно встала со своей постели и тихо подошла к нему. Павел лежал кверху грудью, и на белой подушке четко рисовалось его смуглое, упрямое и строгое лицо. Прижав руки к груди, мать, босая и в одной рубашке, стояла у его постели, губы ее беззвучно двигались, а из глаз медленно и ровно одна за другой текли большие, мутные слезы.

И снова они стали жить молча, далекие и близкие друг другу.

V

Однажды среди недели, в праздник, Павел, уходя из дома, сказал матери:

— В субботу у меня будут гости из города.

— Из города? — повторила мать и — вдруг — всхлипнула.

— Ну, о чем, мамаша? — недовольно воскликнул Павел.

Она, утирая лицо фартуком, ответила, вздыхая:

— Не знаю, — так уж...

— Боишься?

— Боюсь! — созналась она.

Он наклонился к ее лицу и сердито — точно его отец — проговорил:

— От страха все мы и пропадаем! А те, кто командуют нами, пользуются нашим страхом и еще больше запугивают нас.

Мать тоскливо взвыла:

— Не сердись! Как мне не бояться! Всю жизнь в страхе жила, — вся душа обросла страхом!

Негромко и мягче он сказал:

— Ты прости меня, — иначе нельзя!

И ушел.

Три дня у нее дрожало сердце, замирая каждый раз, как она вспоминала, что в дом придут какие-то чужие люди, страшные. Это они указали сыну дорогу, по которой он идет...

В субботу, вечером, Павел пришел с фабрики, умылся, переоделся и, снова уходя куда-то, сказал, не глядя на мать:

— Придут — скажи, что я сейчас ворочусь. И пожалуйста, не бойся...

Она бессильно опустила на лавку. Сын хмуро взглянул на нее и предложил:

— Может быть, ты... уйдешь куда-нибудь?

Это ее обидело. Отрицательно качнув головой, она сказала:

— Нет. Зачем же?

Был конец ноября. Днем на мерзлую землю выпал сухой, мелкий снег, и теперь было слышно, как он скрипел под ногами уходившего сына. К стеклам окна неподвижно прислонилась густая тьма, враждебно подстерегая что-то.

Мать, упираясь руками в лавку, сидела и, глядя на дверь, ждала...

Ей казалось, что во тьме со всех сторон к дому осторожно крадутся, согнувшись и оглядываясь по сторонам, люди, странно одетые, недобрые. Вот кто-то уже ходит вокруг дома, шарит руками по стене.

Стал слышен свист. Он извивался в тишине тонкой струйкой, печальный и мелодичный, задумчиво плутал в пустыне тьмы, искал чего-то, приближался. И вдруг исчез под окном, точно воткнувшись в дерево стены.

В сенях зашаркали чьи-то ноги, мать вздрогнула и, напряженно подняв брови, встала.

Дверь открыли. Сначала в комнату всунулась голова в большой мохнатой шапке, потом, согнувшись, медленно пролезло длинное тело, выпрямилось, не торопясь подняло правую руку и, шумно вздохнув, густым, грудным голосом сказала:

— Добрый вечер!

Мать молча поклонилась.

— А Павла дома нету?

Человек медленно снял меховую куртку, поднял одну ногу, смахнул шапкой снег с сапога, потом то же сделал с другой ногой, бросил шапку в угол и, качаясь на длинных ногах, пошел в комнату. Подошел к стулу, осмотрел его, как бы убеждаясь в прочности, наконец сел и, прикрыв рот рукой, зевнул. Голова у него была правильно круглая и гладко острижена, бритые щеки, длинные усы концами вниз. Внимательно осмотрев комнату большими, выпуклыми глазами серого цвета, он положил ногу на ногу и, качаясь на стуле, спросил:

— Что ж, это ваша хата или — нанимаете?

Мать, сидя против него, ответила:

— Нанимаем.

— Неважная хата! — заметил он.

— Паша скоро придет, вы подождите! — тихо попросила мать.

— Да я уже и жду! — спокойно сказал длинный человек.

Его спокойствие, мягкий голос и простота лица ободряли мать. Человек смотрел на нее открыто, доброжелательно, в глубине его прозрачных глаз играла веселая искра, а во всей фигуре, угловатой, сутулой, с длинными ногами, было что-то забавное и располагающее к нему. Одет он был в синюю рубашку и черные шаровары, сунутые в сапоги. Ей захотелось спросить его — кто он, откуда, давно ли знает ее сына, но вдруг он весь покачулся и сам спросил ее:

— Кто ж это лоб пробил вам, ненько?

Спросил он ласково, с ясной улыбкой в глазах, но — женщину обидел этот вопрос. Она поджала губы и, помолчав, с холодной вежливостью осведомилась:

— А вам какое дело до этого, батюшка мой?

Он мотнулся к ней всем телом:

— Да вы не серчайте, чего же! Я потому спросил, что у матери моей приемной тоже голова была пробита, совсем вот так, как ваша. Ей, видите, сожитель пробил, сапожник, колодкой. Она была прачка, а он сапожник. Она, — уже после того как приняла меня за сына, — нашла его где-то, пьяницу, на свое великое горе. Бил он ее, скажу вам! У меня со страху кожа лопалась...

Мать почувствовала себя обезоруженной его откровенностью, и ей подумалось, что, пожалуй, Павел рассердится на нее за неласковый ответ этому чудаку. Виновато улыбаясь, она сказала:

— Я не рассердилась, а уж очень вы сразу... спросили. Муженек это угостил меня, царство ему небесное! Вы не татарин будете?

Человек дрыгнул ногами и так широко улыбнулся, что у него даже уши подвинулись к затылку. Потом он серьезно сказал:

— Нет еще.

— Говор у вас как будто не русский! — объяснила мать, улыбаясь, поняв его шутку.

— Он — лучше русского! — весело кивнув головой, сказал гость. — Я хохол, из города Канева.

— А давно здесь?

— В городе жил около года, а теперь перешел к вам на фабрику, месяц тому назад. Здесь людей хороших нашел, — сына вашего и других. Здесь — поживу! — говорил он, дергая усы.

Он ей нравился, и, повинувшись желанию заплатить ему чем-нибудь за его слова о сыне, она предложила:

— Может, чайку выпьете?

— Что же я один угощаться буду? — ответил он, подняв плечи. — Вот уже когда все соберутся, вы и почествуйте...

Он напомнил ей об ее страхе.

«Кабы все такие были!» — горячо пожелала она.

Снова раздались шаги в сенях, дверь торопливо отворилась — мать снова встала. Но, к ее удивлению, в кухню вошла девушка небольшого роста, с простым лицом крестьянки и толстой косой светлых волос. Она тихо спросила:

— Не опоздала я?

— Да нет же! — ответил хохол, выглядывая из комнаты. — Пешком?

— Конечно! Вы — мать Павла Михайловича? Здравствуйте! Меня зовут — Наташа...

— А по батюшке? — спросила мать.

— Васильевна. А вас?

— Пелагея Ниловна.

— Ну вот мы и знакомы...

— Да! — сказала мать, легко вздохнув и с улыбкой рассматривая девушку.

Хохол помогал ей раздеваться и спрашивал:

— Холодно?

— В поле — очень! Ветер...

Голос у нее был сочный, ясный, рот маленький, пухлый, и вся она была круглая, свежая. Раздевшись, она

крепко потерла румяные щеки маленькими, красными от холода руками и быстро прошла в комнату, звучно топая по полу каблуками ботинок.

«Без галош ходит!» — мелькнуло в голове матери.

— Да-а, — протянула девушка, вздрагивая. — Иззябла я... ух как!

— А вот я вам сейчас самоварчик согрею! — заторопилась мать, уходя в кухню. — Сейчас...

Ей показалось, что она давно знает эту девушку и любит ее хорошей, жалостливой любовью матери. Улыбаясь, она прислушивалась к разговору в комнате.

— Вы что скучный, Находка? — спрашивала девушка.

— А — так, — негромко ответил хохол. — У вдовы глаза хорошие, мне и подумалось, что, может, у матери моей такие же? Я, знаете, о матери часто думаю, и все мне кажется, что она жива.

— Вы говорили — умерла?

— То — приемная умерла. А я — о родной. Кажется мне, что она где-нибудь в Киеве милостыню собирает. И водку пьет. А пьяную ее полицейские по щекам бьют.

«Ах ты, сердечный!» — подумала мать и вздохнула.

Наташа заговорила что-то быстро, горячо и негромко. Снова раздался звучный голос хохла:

— Э, вы еще молоды, товарищ, мало луку ели! Родить — трудно, научить человека добру еще труднее...

«Ишь ты!» — внутренне воскликнула мать, и ей захотелось сказать хохлу что-то ласковое. Но дверь нетопливо отворилась, и вошел Николай Весовщиков, сын старого вора Данилы, известный всей слободе нелюдим. Он всегда угрюмо сторонился людей, и над ним издевались за это. Она удивленно спросила его:

— Ты что, Николай?

Он вытер широкой ладонью рябое, скуластое лицо и, не здороваюсь, глухо спросил:

— Павел дома?

— Нет.

Он заглянул в комнату, пошел туда, говоря:

— Здравствуйте, товарищи...

«Этот?» — неприятно подумала мать и очень удивилась, видя, что Наташа протягивает ему руку ласково и радостно.

Потом пришли двое парней, почти еще мальчики. Одного из них мать знала, — это племянник старого фабричного рабочего Сизова — Федор, остролицый, с высоким лбом и курчавыми волосами. Другой, гладко причесанный и скромный, был незнаком ей, но тоже не страшен. Наконец явился Павел и с ним два молодых человека, она знала их, оба — фабричные. Сын ласково сказал ей:

— Самовар поставила? Вот спасибо!

— Может, водочки купить? — предложила она, не зная, как выразить ему свою благодарность за что-то, чего еще не понимала.

— Нет, это лишнее! — отозвался Павел, дружелюбно улыбаясь ей.

Ей вдруг подумалось, что сын нарочно преувеличил опасность собрания, чтобы подшутить над ней.

— Вот это и есть — запрещенные люди? — тихонько спросила она.

— Эти самые! — ответил Павел, проходя в комнату.

— Эх ты!.. — проводила она его ласковым восклицанием, а про себя снисходительно подумала: «Дитя еще!»

VI

Самовар вскипел, мать внесла его в комнату. Гости сидели тесным кружком у стола, а Наташа, с книжкой в руках, поместилась в углу, под лампой.

— Чтобы понять, отчего люди живут так плохо... — говорила Наташа.

— И отчего они сами плохи, — вставил хохол.

— ...Нужно посмотреть, как они начали жить...
— Посмотрите, милые, посмотрите! — пробормотала мать, заваривая чай.

Все замолчали.

— Вы что, мамаша? — спросил Павел, хмурия брови.

— Я? — Она оглянулась и, видя, что все смотрят на нее, смущенно объяснила: — Я так, про себя, — поглядите, мол!

Наташа засмеялась, и Павел усмехнулся, а хохол сказал:

— Спасибо вам, ненько, за чай!

— Не пили, а уж благодарите! — отозвалась она и, взглянув на сына, спросила: — Я ведь не помешаю?

Ответила Наташа:

— Как же вы, хозяйка, можете помешать гостям?

И детски жалобно попросила:

— Голубушка! Дайте мне скорее чаю! Вся трясусь, страшно ноги иззябли!

— Сейчас, сейчас! — торопливо воскликнула мать.

Выпив чашку чая, Наташа шумно вздохнула, забросила косу за плечо и начала читать книгу в желтой обложке, с картинками. Мать, стараясь не шуметь посудой, наливая чай, вслушивалась в плавную речь девушки. Звучный голос сливался с тонкой, задумчивой песней самовара, в комнате красивой лентой вился рассказ о диких людях, которые жили в пещерах и убивали камнями зверей. Это было похоже на сказку, и мать несколько раз взглянула на сына, желая его спросить — что же в этой истории запретного? Но скоро она утомилась следить за рассказом и стала рассматривать гостей, незаметно для сына и для них.

Павел сидел рядом с Наташей; он был красивее всех. Наташа, низко наклонясь над книгой, часто поправляла сползавшие ей на виски волосы. Взмахивая головою и понизив голос, говорила что-то от себя, не глядя в книгу, ласково скользя глазами по лицам слу-

шателей. Хохол навалился широкою грудью на угол стола, косил глазами, стараясь рассмотреть издерганные концы своих усов. Весовщиков сидел на стуле прямо, точно деревянный, упираясь ладонями в колена, и его рябое лицо без бровей, с тонкими губами, было неподвижно, как маска. Не мигая узкими глазами, он упорно смотрел на свое лицо, отраженное в блестящей меди самовара, и, казалось, не дышал. Маленький Федя, слушая чтение, беззвучно двигал губами, точно повторяя про себя слова книги, а его товарищ согнулся, поставив локти на колена, и, подпирая скулы ладонями, задумчиво улыбался. Один из парней, пришедших с Павлом, был рыжий, кудрявый, с веселыми, зелеными глазами, ему, должно быть, хотелось что-то сказать, и он нетерпеливо двигался; другой, светловолосый, коротко стриженный, гладил себя ладонью по голове и смотрел в пол, лица его не было видно. В комнате было как-то особенно хорошо. Мать чувствовала это особенное, неведомое ей и, под журчание голоса Наташи, вспоминала шумные вечеринки своей молодости, грубые слова парней, от которых всегда пахло перегорелой водкой, их циничные шутки. Вспоминала, — и щемящее чувство жалости к себе тихо трогало ее сердце.

Припомнилось сватовство покойника-мужа. На одной из вечеринок он поймал ее в темных сенях и, прижав всем телом к стене, спросил глухо и сердито:

— Замуж за меня пойдешь?

Ей было больно и обидно, а он больно мямл ее груди, сопел и дышал ей в лицо, горячо и влажно. Она попробовала вывернуться из его рук, рванулась в сторону.

— Куда! — зарычал он. — Ты — отвечай, ну?

Задыхаясь от стыда и обиды, она молчала.

Кто-то открыл дверь в сени, он не спеша выпустил ее, сказав:

— В воскресенье сваху пришлю...

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	5
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	179

Горький М.

Г 71 **Мать** : роман / Максим Горький. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. — 384 с. — (Азбука-классика).

ISBN 978-5-389-08688-3

В основу романа «Мать», одного из самых популярных произведений Горького, легла массовая демонстрация 1902 года в городе Сормове. Отсюда основанный на реальных событиях волнующий сюжет, с острой политической борьбой, тайными сходками, обысками, арестами, самоотверженным героизмом главного героя-революционера Павла Власова. Однако центральный образ в романе — Пелагея Ниловна Власова, мать героя, один из самых ярких и волнующих персонажей российской литературы, символизирующая собой вечный образ Матери, наделенной даром безграничной любви и терпения.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Литературно-художественное издание

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

МАТЬ

Ответственный редактор Кирилл Красник
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Владимира Ремизова
Корректоры Елена Орлова, Валерий Камендо
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 25.04.2018. Формат издания 75 × 100 ¹/₃₂.
Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Усл. печ. л. 16,92. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 93



www.aoompk.ru, www.aoompk.rf.
Тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60
E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:
www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



Y-AKB-16696-04-R